

НИКОЛАЙ ГАРИН-  
МИХАЙЛОВСКИЙ

**В СУТОЛОКЕ  
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ  
ЖИЗНИ**

Николай Гарин-Михайловский  
**В сутолоке провинциальной жизни**

«Public Domain»

1900

## **Гарин-Михайловский Н. Г.**

В сутолоке провинциальной жизни / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain», 1900

«Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года. После трех описанных мною пожаров, я потерял большую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему – некоему Петру Ивановичу Иванову...»

© Гарин-Михайловский Н. Г., 1900

© Public Domain, 1900

## Содержание

I	5
II	8
III	18
IV	22
V	27
VI	29
VII	36
VIII	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Николай Гарин-Михайловский

## В сутолоке провинциальной жизни

### I

Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года.

После трех описанных мною пожаров, я потерял большую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему – некоему Петру Ивановичу Иванову.

Выбор Петра Ивановича был сделан мною не вполне самостоятельно: рекомендовал мне его Чеботаев, как человека стойкого и умеющего подобрать распущенные мною вожжи.

То, что все случившееся со мной произошло на этой именно почве, – в этом не сомневался никто.

– Мне кажется, что с вами случилось, – утешал меня тогда Чеботаев, – нечто в таком роде. Позвали вы человека и сказали ему: «Вот тебе рубль». – «За что?» – «Так, ни за что». – «Спасибо». И на другой день позвали и дали, и на третий, и на четвертый, и так далее, приучив себя давать, а их брать. И в один прекрасный день, когда вместо рубля вы дали им полтинник, они обиделись и стали жечь вас. Петр Иванович звезд с неба хватать не будет, но он человек деловой, практичный, стойкий и, главное, честный.

И вот Петр Иванович в один пасмурный декабрьский день приехал ко мне в Князевку.

Он долго пыхтел и шумел, раздеваясь в передней; из кабинета я слышал его властный голос, которым отдавал он прислуге разные приказания относительно своего багажа, необходимости просушить его чапан, валенки, – как именно просушить. Кончив по части распоряжений, он долго сморкался и, наконец, властно приказал:

– Доложи: управляющий Петр Иванович Иванов.

Не дожидая доклада, я сам пошел в переднюю и со словами: «очень рад познакомиться» – протянул новому управляющему руку.

Но не такой был человек Петр Иванович. Его чиновничью субординацию, очевидно, покорила моя фамильярность, и, отступив, не торопясь жать мою руку, он сухо и строго, в упор, проговорил:

– Честь имею представиться: управляющий Петр Иванович Иванов.

– Очень рад... пожалуйста...

И я указал ему дорогу.

– Нет, уж позвольте, – еще строже ответил Петр Иванович и так твердо указал мне идти первому, что мне оставалось только исполнить.

Дойдя до кабинета, я предложил гостю сесть и уселся сам.

Но и тут Петр Иванович сел не сразу. Он поблагодарил меня за мое предложение сесть таким кивком головы, который как бы говорил: «еще посмотрю я, стоит ли мне садиться: может быть, ты в самом деле такой сумасшедший, что я, не теряя времени, уеду к Чеботаеву, у которого знаешь по крайней мере чего держаться».

Все это я чувствовал, – чувствовал, что в лице Петра Ивановича со стороны всего уклада нашей уездной жизни мне предлагается своего рода ультиматум, после которого в зависимости от того, будет ли он принят мною, или нет, я буду причислен ими к подающим надежды на исправление или безвозвратно погибшим.

Понимал это, очевидно, и хорошо понимал, и Петр Иванович.

Полный, с брюшком и лысиной, с задорной осанкой, гладко выбритыми щеками и большими усами Петр Иванович, не торопясь, с достоинством осматривал мой кабинет, картины, меня.

Он сел, наконец, и сразу приступил к делу.

Чеботаев рассказал ему все. Нужны твердость, выдержка. Он знает имение. Имение, по его мнению, может дать даже в первое время до десяти тысяч дохода в год. Через несколько лет он надеется поднять доходность до пятнадцати тысяч.

Я слушал и уже смотрел на толстого Петра Ивановича, как на неисчерпаемый запас пачек по пятнадцати тысяч каждая, которые он одна за другой каждый год будет мне вручать.

– Я берусь... но... – и Петр Иванович, остановился, – я ставлю... э... условие... Я говорю и буду действовать в ваших интересах, и в ваших интересах я должен все сказать. Всякое ваше приказание я обязан исполнить или уйти, – когда только вы это мне прикажете. Но пока вы считаете меня полезным, вы ограничиваетесь в своих распоряжениях мною... С остальными говорю я, и вся ваша забота – поддержать мой авторитет. Потому что мой авторитет – ваш авторитет.

Я не буду утомлять читателя дальнейшими нашими переговорами с Петром Ивановичем.

Скажу коротко, что к вечеру мы с ним договорились и начали согласно выработанной программе действовать.

Прежде всего решено было исправить ошибку суда, вынесшего оправдательный приговор моим поджигателям: решено было наказать своей властью виновных.

Я их знал всех. Пяти богатеям с их семействами, наиболее виновным, я предложил навсегда покинуть Князевку. На их естественный отказ исполнить такое мое требование я собрал через несколько дней после приезда Петра Ивановича сход.

– Если вы желаете, господа, – сказал я, – иметь со мной дело и вперед, я ставлю условие: эти пять семейств должны покинуть Князевку.

Мне отвечали, что общество здесь бессильно что-нибудь сделать.

Я в свою очередь сказал:

– Вашу силу я знаю: если вы захотите, то сможете. Как хотите, но вот мои условия: пока эти люди не уйдут добровольно, я вам не дам ни земли, ни выгона, ни леса, ни воды.

Я ждал ответа, но его не последовало.

Я смотрел тогда на все с своей точки зрения: я был оскорблен их молчанием, я сделал свой вывод из него, – им дороже их товарищи поджигатели со всем злом, которое несли они с собой, дороже меня, несшего им всю свою душу, все добро, которым располагал.

– Теперь зима, господа, и я вам не нужен, но ведь придет весна... И вам нечего будет пахать, вам некуда будет выгнать для пастьбы скот.

Родивон Керов, приземистый крепыш, молодой и остроумный, попробовал было пошутить:

– Кто там жив еще будет до весны.

Шутка не вышла, голос его тоскливо оборвался, потому что я слушал и смотрел на него не так, как когда-то.

Он смущенно махнул рукой, пробормотал: «Мне что» – и спрятался в толпу.

Послышался чей-то тяжелый вздох.

– Прощайте, господа, – я объявил вам свою волю, и как по лестнице не влезете на небо, так и волю мою не достанете. Петр Иванович, ваш новый управляющий, исполнит мое распоряжение. Убьете его – другой его заменит.

Я помолчал и, угрюмо отчеканивая слова, кончил:

– Выгон, который до сих пор я отдавал вам даром, как только придет весна, будет вспахан.

– Что ж мы будем делать без него? Где скотину будем пасти? – раздался жесткий вызывающий голос Ивана Евдокимова, одного из приговоренных мною.

Он, очевидно, совершенно не верил в возможность его выселения.

– Этот выгон, – настойчиво повторил я, – с первым весенним днем Петр Иванович начнет пахать и будет пахать до тех пор, пока ваши уполномоченные не привезут от меня приказа прекратить пашню. Уполномоченные же ваши получают приказание от меня, когда привезут известие, что Чичков, Евдокимов, Кисин, Анисимов и Сергей оставили навсегда вашу деревню. Прощайте, я уезжаю в город, и до лета вы меня не увидите.

При гробовом молчании я сел в сани и уехал в усадьбу.

Короткий декабрьский день подходил к концу, на белом снеге ярче подчеркивались лиловые тона леса, из ущелий ползли тяжелые тучи, голый лес завывал, и бушевала сильнее вьюга, вырываясь там дальше на простор полей.

Такой заброшенной и сиротливой казалась вся эта Князевка, эти люди, стоявшие предомной на морозе, гнувшиися под леденящим дыханием зимы, моих слов...

Вечером Петр Иванович, расхаживая по кабинету, самодовольно потирал руки и говорил с тем достоинством, с каким говорят или хотят говорить с опекаемыми:

– Ну, теперь главное... твердость... авторитет... теперь... э... – он важно складывал колечком губы, пыжился и осматривал внимательно, пытливо меня, – теперь шутки плохие выйдут, если мы опять уступим.

– Не уступим.

– Вы, конечно, в город уедете, а я ведь здесь останусь – убьют.

– Я вам на три года передал уже свои права.

– Без этого, конечно, я и не взялся бы.

Заглянул Родивон Керов, уже сдружившийся с Петром Ивановичем.

– Ну что, Родивон? – весело, возбужденно спрашивал его Петр Иванович, – убьют нас с тобой?

– Но-о...

– Ну, не говори...

– Поплачем да и начнем помаленьку тискать тех-то, недружков твоих. Не пропадать же всем из-за них.

– Недружки они не мои, а ваши, – поправил я.

– Да ведь видишь, – глупы, – их же жалеем.

Утром рано на другой день я уже выезжал в город на всю зиму с неясной утешительной злорадной мыслью: вот, дескать, думали, что буду вам всю жизнь делать добро и нельзя меня довести до зла... так... вот... довели...

## II

До приискания места я с семьей поселился в губернском городе той губернии, где было мое имение.

Губернское общество приняло нас с распростертыми объятиями.

Меня журили за панибратство с крестьянами, за попустительство, но журили ласково, любя, и радовались как тому, что Чеботаев мне дал такого управляющего, как Иванов, так и тому, что я опять принимаюсь за службу.

Измерзнувший, исхолодавший душой, сбитый с толку, я рад был ласке, теплу.

– Все, что ни делается – к лучшему, – утешали меня, – вы человек городской, человек инициативы, а Чеботаев другой человек, – человек деревни, устоев.

Чеботаев вдруг как-то выдвинулся всей моей историей, и о нем заговорили.

– Замечательный и именно тем, что ничего в нем нет там нового, неиспробованного, – это сам устой, сама скромность и чистота.

И Чеботаеву противопоставляли Проскурина со всей его партией.

Проскурин, богатый помещик, лет тридцати пяти, из улан, был уездным предводителем и центром своей партии. И глава и партия, лихие кавалеристы в отставке, умели и кутить в своем кругу, умели и дружно стоять друг за друга на дворянских земских собраниях. Друг другу они говорили «ты», строго соблюдали между собой свой «льцарский устав», но в отношении остального общества держали себя, как бог на душу положит.

Сами себя они считали и богатыми, и воспитанными, и, может быть, даже образованными. В действительности же были людьми, в сущности, уже разоренными, кроме Проскурина, – малограмотными, по существу грубыми и в значительной степени неразборчивыми в средствах при достижении цели.

Но в смысле партийной борьбы, умения сажать в чернильницу, они смело могли бы дать любым парламентским деятелям Европы и Америки семьдесят пять очков вперед.

Самый способ, с помощью которого Проскурин выдвинулся в предводители, уже заслуживал внимания.

В уезде с времен Екатерины II проживали мелкопоместные дворяне с майоратными участками в шестьдесят десятин.

Дворяне эти, за ничтожным исключением выбивавшихся «в люди», влачили жизнь худшую даже, чем крестьяне. Землю свою задаром сдавали в аренду, а сами нищенствовали.

И вот однажды, во время выборов, толпы этих нищих во фраках и нитяных перчатках наводнили залы дворянского дома и избрали Проскурина своим уездным предводителем. Из крупноземельных дворян уезда часть не явилась, а протестующие оказались в таком меньшинстве, что ни о каком протесте не могло быть и речи.

Положение Проскурина было обеспечено теперь и в земстве – как благодаря этим же мелкопоместным, так и тому, что друзья Проскурина, как и он сам, владели хотя и заложенными и перезаложенными, но крупными поместьями, а, следовательно, по новому уставу преобразованного земства, были без выбора членами земского собрания.

Таким образом Проскурин с своей партией являлся полным хозяином своего уезда. И действительно: членами управы были выбившиеся в люди из мелкопоместных, председателем был разорившийся старичок из своих, с которым Проскурин обходился фамильярно – то грубо, то пренебрежительно снисходительно.

Но на губернских собраниях роль Проскурина и его партии ослаблялась главным образом нашим с Чеботаевым уездом и соседним с нами.

В обоих этих уездах дворянства было еще много и такого сплоченного, что соседний, например, с нами уезд иначе и не называли как «спасовым согласием».

Душой этого соседнего уезда был живший в губернском городе член губернского земства Николай Иванович Бронищев.

Очень энергичный, дельный, умный, безукоризненно честный, Николай Иванович по натуре своей представлял из себя крупную силу.

Среднего роста, изящный, всегда элегантно одетый всегда доброжелательный и ласковый, с прекрасными манерами, из старинной дворянской семьи Николай Иванович мог бы занять и более высокую роль в губернии. Но он добровольно отказался от всякой другой и стал зато центром, душой своего уезда.

И уезд его, являясь на собрания, представлял из себя, действительно, сплоченную сильную партию, с заранее выработанной программой по всем текущим вопросам.

Такой же, как Николай Иванович, силой становился в своем уезде Чеботаев. Но в то время, как уезд Николая Ивановича был уже дисциплинирован, уезд Чеботаева требовал еще большой работы. Во главе уезда все еще стояла старая партия с старым предводителем дворянства, за которым числилось две большие заслуги: он был предводителем в тот период, когда никто им не желал быть, в период, который называли «пребыванием дворянства в пустыне»; и вторая заслуга та, что старый предводитель все свое состояние прожил на предводительство. Но были и недостатки, – некоторая халатность, кумовство, и, наконец, это был человек уже старый, без энергии, а наступали новые времена, когда роль предводителя могла стать и более ответственной.

Эти новые времена уже чувствовались.

Дворянский банк уже открыл свои действия и своими широкими ссудами прямо-таки спас оставшееся еще дворянство по крайней мере на первое время от такого же поголовного разорения, какому подверглись шестьдесят-семьдесят процентов уже разорившихся дворян. Еще более существенным в смысле влияния на жизнь являлись преобразование земства и предполагавшийся институт земских начальников. Благодаря тому и другому в высшей степени увеличивалось как значение дворянства вообще, так и предводителей в особенности.

Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидалось выборы на очередном дворянском собрании, долженствовавшем быть как раз в эту зиму.

Особенно волновали общество сенсационные слухи о том, что Проскурин будет баллотироваться в губернские предводители.

И как ни дико это казалось с одной стороны, с другой – и невероятного ничего не было, – все зависело от того, как разделятся голоса нашего уезда: восторжествует Чеботаев, – Проскурин в меньшинстве; останется прежний, – Проскурин проскочит.

Ввиду такого положения дела благожелательный элемент дворянства решил просить старого, очень авторитетного предводителя дворянства с незапятнанным именем остаться еще на трехлетие. Все, конечно, понимали, что предводитель очень уж стар и болен, числился бы он предводителем только на бумаге, но это все-таки был бы лучший исход, чем риск получить Проскурина.

Слабой же стороной такого проекта было то, что Проскурин как предводитель уезда, первого по счету, являлся бы в случае смерти заместителем старого предводителя.

Конечно, Проскурин, если бы был корректен, должен был бы немедленно собрать экстренное собрание для новых выборов, но в корректность Проскурина плохо верили и думали, что он предпочтет второй выход, предоставленный ему законом, – остаться заместителем до следующего очередного собрания.

Уже за несколько дней до выборов все гостиницы были переполнены съезжавшимися на выборы дворянами.

Они прибывали с каждым поездом, и вереницы ползущих по улицам извозчичьих санок развозили их по городу.

Они ехали, и их позы, выражения, взгляды – все говорило, что мыслью они еще там, в своих деревнях, среди всех дел своих деревенских: сдачи работ, земель, продажи леса, организации разных подготовительных работ для весенних посевов.

Но в гостиницах начиналось уже другое. В темных коридорах бегали озабоченные лакеи, и то и дело растворялись двери номеров, обрисовывались фигуры без сюртука, в подтяжках и раздавался громкий оклик отца командира:

– Человек!

Закорузлые деревенские медведи мало-помалу выползали из своих деревенских шкур: умывались, стриглись, брились и преобразовывались кое-как в городских, правда, с довольно помятыми платьями интеллигентов.

Но в их номерах по-прежнему царил характерный затхлый запах от всех этих дох, полушубков и душегреек, грязного белья, от недоеденной индейки в дорожной корзинке.

Принарядившись, приехавшие занимались обычными визитами: губернскому предводителю, губернатору, вице-губернатору, городским знакомым, друг другу.

Помимо визитов, были и дела – свои частные, большею частью денежные, по части займов. Были и общественные – по поводу предстоящего собрания.

Каждая партия своего уезда собиралась отдельно, каждая в своем месте.

Партия Проскурина собиралась днем в богатых, – украшенных портретами предков в высоких воротниках, – апартаментах Проскурина, а после театра в отдельных кабинетах недавно отстроенного ресторана с электричеством, с новинками и ценами петербургских ресторанов.

Чеботаев со своим уездом поселился в одной из самых скромных гостиниц.

Собирались они, и у меня, и в своей гостинице, за скромной едой, и у Николая Ивановича.

Чеботаев, сперва упорно отказывавшийся от баллотировки, убедившись, что, вероятно, большинство за ним, начинал сдаваться, и мы радостно говорили:

– Пойдет! Куда он от нас денется! Силой потащим!

Чеботаев совершенно искренне говорил, что не хотел бы баллотироваться. Мало того, что не хотел, он чувствовал себя совершенно подавленным. Он говорил мне:

– Я теперь живу тихо и мирно и совершенно спокоен в том отношении, что я – не достоиние всех, что ко мне, в мою жизнь, в мою деятельность не ворвется никто непрошенный, не изобразит все по-своему и все переверт и даже не по злобе, а так, потому что что-то изобразилось там в его голове, ну и валяй... Да вы думаете, эти-то наши дворяне умеют ценить? Мой отец пять трехлетий просидел и что же? Человек сам отказался, – уговорили, а когда дал согласие, прокатали на вороных... Отца тут же в предводительском кресле удар хватил, тут и умер... Уложили его в гроб, тогда опять: «Вот истинный дворянин был! Хоронить его с такой помпой, какой еще не было! Портрет повесить!» И хоронили и портрет повесили... Я не верю их искренности, дружбе: изоврались они, излукавились уж очень... Проскурин... И таких большинство... Некоторые из дворян просят меня баллотироваться в губернские предводители... Это уж прямо подвох...

И жена Чеботаева так смотрела и вообще усиленно отговаривала мужа от всяких баллотировок.

Минутами, среди всех этих сплетен, среди мрачных лиц заговорщиков проскуринской партии, затевавших что-то, действительно, как-то терялась почва под ногами и хотелось быть подальше от всего этого.

Чувствовалось как-то, что попадись только в руки этих молодцов, девиз которых был: «Кто не с нами, тот против нас, и кто против, с тем война, не разбирая средств».

Между прочим, была объявлена война и губернатору...

Вот по какому делу.

Один из уездных предводителей дворянства Новиков, приятель Проскурина, был предан суду по обвинению в разного рода некрасивых преступлениях по службе: тут были и побои и злоупотребления. Дело доходило до сената, и сенат утвердил обвинительный приговор Новикова. Но партия Новикова была очень сильна в уезде, и как только кончилось судбище, Новикова опять выбрали в предводители.

Губернатор на том основании, что осужденный Новиков лишился по закону права выбора, избрание Новикова не утвердил.

Наша партия и партия Николая Ивановича по этому поводу были целиком на стороне губернатора, но партии Новикова и Проскурина метали громы, угрожали губернатору, вышучивая его и распуская о нем всякие сплетни.

Сплетни и шутки были грубые, плоские, и люди эти с цинизмом врывались в самую святая святых человеческих отношений.

Всегда в корсете, скрадывавшем его плотную фигуру, с английским пробором, с изнеженными женскими манерами, задорный, надменный и нервный Проскурин говорил презрительно:

– Я покажу и губернатору и его прихвостням их место: разделятся, голубчики, рыдая, но расстанутся, будут помнить.

Щеголеватые члены проскуринской партии готовились, очевидно, к чему-то и молча, с презрительным высокомерием покручивали свои холеные усы, стоя во время антрактов в театре у барьера первого ряда.

Так страстно ожидавшийся день выборов настал.

Дворянский дом представлял необычайное возбуждение.

Швейцары в полных формах, вешалки, заваленные шубами, настежь раскрытые двери налево, в помещение хозяина дома – губернского предводителя, и направо, в залы собрания и буфетные комнаты.

И везде, во всех комнатах стоял гул от говора большой толпы людей в самых разнообразных мундирах. Но большинство из них были дворянские: с красными воротниками, красными обшлагами на рукавах.

Шитье некоторых из этих мундиров имело странный заношенный вид, и владелец такого мундира выглядел и сам какой-то мумией прежних времен: это родовые мундиры от дедов и прадедов. Мундиры, на которых ни ордена, ни шитья.

– Я и деды мои, – говорил его хозяин, – с самого почина в этом мундире и, как видите, ни на выборах, ни по казенной службе не преуспевали. Всегда только рядовые своего сословия.

Но много было и заслуженных.

На боковых скамьях центральной избирательной залы заседали почтенные старцы в лентах и звездах, с грудью, украшенной всевозможными орденами.

Пред этими старцами как-то стихало бушующее море страстей. Проходя мимо, заговорщики обрывались, почтительно раскланивались и уходили в другие комнаты.

Проскурин со своими стоял у красного большого стола и презрительно шурился на всю эту разношерстную толпу.

Его мелкопоместные во фраках резко отличались от остальных и робкой толпой жались в углу у крайнего окна.

Некоторые из дворян уже сидели. Это из тех робких, обросших и мохнатых медведей, которые выползли из своих берлог и теперь не знали, куда девать свои руки и ноги.

– Да идите, – крикнет такому какой-нибудь член его партии.

– Нет, – махнет безнадежно рукой такой медведь, – я уж тут...

И эта толпа, и мундир с воротником, который, как клещ, жмет, и этот скользкий паркет: вот, бог даст, доберется опять до своих лесных трущоб и зашагает снова через пни и валежник: там не упадешь, там есть за что хватиться. И если бы не нужда, если бы не предстоящие

назначения в земские начальники, не поехал бы он и на выборы, ни с визитами к губернатору, к губернскому предводителю, мало думал бы и о том, кого там выберут в предводители. А теперь со всем этим приходилось считаться – и очень, и сидевшие на боковых скамьях старцы удовлетворенно говорили, что по оживлению собрание это напоминает им давно уже забытые времена.

– Господа, пора ехать за губернатором.

На мгновение все стихло, и опять по комнатам понесся гул голосов.

Николай Иванович, возбужденный, помолодевший, изящный и легкий, весело здоровается со мной и подмигивает на Чеботаева.

– Волнуется... привыкнет...

Чеботаев, бледный, вытянутый, молча, обводя помертвелыми глазами залы, ходит с своим плотным, угрюмым приятелем Нащокиным.

Нащокин с специальным образованием, прекрасный хозяин, с густой шевелюрой, с которой так и сыплется перхоть, белым налетом усыпавшая уже плечи его потемневшего мундира.

– Пойдем: сообщу вам интересную новость.

И Николай Иванович берет меня под руку, и мы подходим к Чеботаеву.

Он сообщает, что дела Проскурина неожиданно оказались очень неважными. Уверенный в своем уездном кресле, Проскурин весь сосредоточился на борьбе за губернское и выписал мелкопоместных в ограниченном количестве.

Николай Иванович снисходительно улыбается и поясняет:

– Расход меньше: каждый такой рублей сто стоит... А тут вдруг, ввиду новых времен, нахлынуло столько врагов, что, пожалуй, в уездные проскочит Корин.

– Ну, тоже находка, – фыркает Чеботаев.

– Да, положим, так: и бездарный и злобный какой-то...

– Бестактный, – говорит кто-то.

– И все-таки, как переход к очередным делам, лучше Проскурина...

И Николай Иванович, потирая руки, тихо смеется. Он тихо, ласково говорит:

– Я бы советовал оказать ему поддержку и приобрести таким образом союзника.

– Это конечно, – соглашаемся мы.

– Еще в одном уезде заминка: Васильев запутался так, что ему уже не до предводительства, и, в сущности, ни на ком там еще не остановились. Я бы советовал посадить к ним одного молодого, Бориса Петровича Старкова.

– Да ведь он умрет через год: у него чахотка, – сказал кто-то.

– Ну, не так скоро, – добродушно ответил Николай Иванович, – а человек он порядочный и, как на новом, на нем все помирятся.

Я знал Старкова.

Он только что кончил университет, но выпускного экзамена не держал, потому что заболел легкими, а так как чахотка была в роду у него, то мать настояла, чтобы он бросил экзамены и ехал в Крым.

Из Крыма он приехал на родину, не думая больше об университете.

– К чему? – говорил он. – Проскриплю три-четыре года и отправлюсь к праотцам. Гораздо интереснее успеть что-нибудь сделать интересное, полезное в это время.

Единственный сын богатой помещицы, мечтательный, хрупкий, с каким-то безнадежным взглядом он думал не о себе. Он хотел издавать газету.

– Столько интересных общественных вопросов... Ведь у нас застой, полное незнание самих себя, своих сил... Мировые вопросы там решаем, знаем, что делается на конце света, а что делается у себя под носом, в своем уезде, не знаем, и знать не хотим, и не интересуемся.

В самый разгар выборной горячки Старков приезжал и допытывал меня:

– Как вы думаете, пойдет мое дело?

Я слушал его, отвечал и думал, что как не вовремя он всегда умудрится попасть в гости, – как раз тогда, когда или назначено собрание нашей партии, или что-нибудь другое в это время надо делать.

А Старков, больной, ненадежный физически, все гудел своим гортанным баритоном:

– Я так рад, что случай свел нас: вы сразу вызвали во мне всю мою симпатию...

Этого самого Старкова и предлагал теперь Николай Иванович.

Нащокин, все время молча слушавший, вдруг сказал решительно:

– Так что ж, – так и надо сделать.

– Вы думаете уговорить Старкова? – спросил Николай Иванович.

Нащокин подумал еще и еще решительнее сказал:

– Да, я думаю.

Согласились и все окружавшие нас.

– Ну, что ж, пойдем, значит, уговаривать его? – улыбнулся мне Николай Иванович и ласково потянул за собой.

Мы отправились с ним разыскивать Старкова, а наши, смеясь, кричали нам вдогонку:

– Соблазнитель, совратитель!

Высокого тонкого Старкова не трудно было заметить.

Он стоял у окна и мечтательно смотрел на улицу.

На наши уговоры он сперва отвечал так, как будто он никак не мог оторваться от своих каких-то мечтаний. Он говорил, что не чувствует ни желания, ни способности, что плохо, наконец, верит в живучесть дворянства.

– Фактов нельзя отрицать, – ответил ему Николай Иванович, показывая на залы, – слишком много сделано и будет сделано для дворянства, чтобы сомневаться в том, что оно опять будет жить. Как жить? Для этого и надо, чтобы все порядочное сплотилось, а если один не захочет, другой, то и останутся Проскурины...

Николай Иванович вспомнил, что Проскурин родственник Старкова, и извинился, а Старков ответил:

– Сделайте одолжение, – я ведь сам его вижу, какой он, – что ж, что родственник? Обязанности у человека прежде всего общественные.

Зная слабость Старкова ворковать своим густым баритоном без конца, я перебил его:

– Ну, так вот в силу этих общественных обязанностей.

– Я ведь хотел было газету, – просительно обратился он ко мне.

Я смутился и отвечал:

– Да вот, видите, и меня увлекло течение: очень уж хочется, чтобы порядочные люди во главе стали, – газета у вас не завтра начинается, а там по времени можно ведь подобрать и заместителя себе и газетой заняться.

На хорах показались в это время дамы, и все головы повернулись туда.

И дамы, как и их кавалеры, рассаживались по группам, оживленно разговаривая, кивая сверху на поклоны своих знакомых.

– Не знаю уж и сам, господа, как, – сказал Старков.

– Ну, значит мы знаем, – рассмеялся Николай Иванович и отправился орудовать дело.

Как раз в это время крикнули:

– Губернатор приехал!

И многие бросились к входу.

С нашего места все было так хорошо видно, что мы со Старковым тут и остались.

Немного погодя показался в камергерском мундире губернатор, небольшой, худощавый, с изящными манерами, но уже с трясущейся слегка головой, старик, любезно пожимавший направо и налево руки кланявшимся ему дворянам...

Я видел, как с аффектированным уважением почтительно пожал губернатору руку Проскурин. За ним, как складной аршин, согнулся его приятель граф Семенов, пропадавший долго где-то за границей. Затем, с некоторой иронией, но в то же время и очень почтительно, расшаркался другой приятель Проскурина, Бегаров, бывший студент Дерптского университета, с неприятным, с несколькими сабельными ударами, лицом. Бледные рубцы от этих ударов производили впечатление каторжных клейм. Бегарова не любили даже свои за язвительность, жестокость, за его какой-то недворянский шик. Но он был очень богат, охотно ссужал деньгами, хотя об этих деньгах и толковали, что отец Бегарова, новоиспеченный дворянин, нажил их при помощи ссуд. После Бегарова откланялся губернатору Свирский – высокий, красивый, молодой, с черными усами, с небольшими черными глазками, в мундире с иголки. Свирский был тоже из партии Проскурина. Он только что вышел в отставку и был желанным гостем и в семейных домах, где барышни были на возрасте, и в холостых компаниях, где Свирский был не дурак выпить.

Среди партии Проскурина губернатор медленно подвигался вперед, когда вдруг все они, исполнив свой долг вежливости, отхлынули, и перед губернатором сразу образовалось в проходе между стеной, с одной стороны, и рядами стульев – с другой, большое пустое пространство.

И в этом пустом пространстве стоял один человек: Новиков.

Когда все мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Губернатор не мог миновать Новикова – встреча была неизбежна, и все напряженно ждали, чем все это кончится.

Новиков, блондин, во фраке, с расчесанной надвое бородой, сильный и крепкий, в вызывающей позе стоял и, ждал подходившего губернатора.

– О, черт его побери, – проговорил тихо кто-то сзади меня, – не хотел бы я быть на месте губернатора.

– Да, – ответил так же тихо другой, – положение, что называется, хуже губернаторского. Сам губернатор не казался, впрочем, смущенным.

Такой же улыбающийся, с манерами привычного придворного, он подошел к Новикову и протянул ему руку с такой безразлично вежливой физиономией, как будто принимал в это время от кого-нибудь стакан чаю или прошение.

Прищурившись, он улыбался, держа протянутую руку, и голова его слегка тряслась, пока Новиков в ответ, спрятав обе свои руки за спину, отвешивал губернатору, не торопясь, низкий поклон.

– Я вам протягиваю руку, – сказал ласково, спокойно губернатор, когда Новиков выпрямился после поклона.

И так царил тишина в зале, но теперь стало так тихо, точно все вдруг, уже лишённые способности говорить, дышать, думать, могли только смотреть и бессознательно переживать мгновение.

Самое коротенькое мгновение: Новиков как-то растерянно качнулся вбок и протянул свою руку со словами:

– Извините... не заметил...

Мои глаза случайно упали в это время на Проскурина, – он сделал жест, который как бы говорил: «сорвалось».

И все опять пошло своим чередом, все ожило, губернатор шел дальше, раскланивался, жал руки, пока не дошел до красного стола и председательского кресла.

С той же спокойной, изящной манерой он стоял у стола, читая указ об открытии собрания, поздравляя дворян и желая им успешной работы на этом собрании.

Затем губернатор отбыл, и возмущало всех то, что Проскурин же, провожая губернатора, энергичнее других порицал Новикова за то, что именно в дворянском доме он хотел было нанести такое оскорбление губернатору.

Губернатор на это вскользь бросил:

– Я надеюсь, что дворянский дом сумеет снять с себя это пятно.

– Само собой, само собой, ваше превосходительство, – говорил Проскурин.

И, как только губернатор скрылся в подъезде, Проскурин, опять энергичный и уверенный с своей партией, через маленький, коридор исчез на минуту в буфет.

Возвратились они все в общую залу чрез разные двери. Сам Проскурин прошел через арку возле красного стола и, остановившись на виду у всех, стоял и слушал волновавшихся дворян.

– Во всяком случае, – заговорил Николай Иванович и в это время нарочно повернулся лицом к Проскурину, – это нечто столь недостойное, подобного чему не было еще в этом доме.

– Совершенно верно, – надменно ответил Проскурин, – если это оскорбление, но я бы желал выслушать, что скажет сам господин Новиков.

Новиков поднялся с своего места и спокойно сказал:

– Честь этого дома мне так же дорога, как и всякому другому дворянину. Я даю мое дворянское слово, что не имел в виду никакого дурного умысла. Я только был твердо уверен, что после того, что произошло между мной и губернатором, о пожатии рук не могло быть и речи. Уверенный в этом, я и ограничился самым почтительным поклоном, и как только он напомнил мне о своей руке, я в то же мгновение вспомнил и о моей и протянул ее.

Легкий смех пробежал по зале, а Новиков продолжал:

– Самый пустой инцидент, который почему-то хотят раздуть; чтобы покончить с ним и снять всякие, могущие пасть на этот дом обвинения, я предлагаю письменно объяснить губернатору все, как было в действительности... даже извиниться, ну... за свою оплошность, что ли.

Собрание облегченно вздохнуло, приняло предложение Новикова и считало инцидент исчерпанным.

Но через некоторое время какие-то лазутчики, все время, очевидно, доносившие губернатору о том, что происходит в собрании, в свою очередь донесли и собранию, что губернатор рвет и мечет и требует извинения от всего собрания.

Проскурин нетерпеливо, порывисто крикнул:

– Может быть, он захочет нас и в ливрее одеть и в таком виде процессией по улицам идти к нему и кланяться? Слишком маленький крючок придумал, чтобы зацепить на него и потащить все дворянство. Это – дворянство, и оно само знает, в чем его достоинство и как ему держать себя.

Раз Проскурин заговорил о дворянстве и его достоинстве, – это такая почва, на которой всякий подающий голос за честь этого достоинства подкупает всегда симпатию – и порыв Проскурина увлек собрание.

Кричали: «Что, в самом деле, мы не лакеи». Вспоминали разные эпизоды из прежних отношений с губернатором: и тогда-то и тогда оскорбил дворянство губернатор, и тогда-то и тогда простили. Ну, если и неловкость сделал человек и к тому же извинился, то при чем тут собрание.

Даже Чеботаев и Николай Иванович соглашались, говоря о губернаторе:

– Старик немного увлекся, – он откажется.

И Николай Иванович, понижая голос, прибавлял:

– Ведь это сам же Проскурин и подал ему эту мысль обидеться – я сам слышал.

– Ах, интриган, – охали мы, с искренним презрением оглядывая надменную фигуру ничем не смущавшегося Проскурина.

Начались выборы.

Проскурин от губернского отказался, и мы торжествовали.

Старый губернский предводитель прошел значительным большинством, но в баллотировочных ящиках оказался кем-то положенный медный пятак.

Никто так и не понял, зачем это было сделано. В доисторические времена, когда исправников выбирало дворянство, то таким, которые уже слишком явно брали взятки, иногда на выборах вместо шаров клали медные деньги.

В данном случае ни о чем подобном не могло быть и речи, – старик предводитель имел такое незапятнанное имя, что когда вынули пятак, то решено было скрыть даже этот факт, чтобы не огорчить старика. Таким образом, если цель этого пятака заключалась в том, чтобы обидеть и заставить отказаться, то она не удалась. Опасность была в другом: при выборе кандидата могли переложить ему избирательных шаров, а то могли и сорвать все собрание, если бы кто-нибудь из дворян вдруг уехал.

Но, наученные опытом, дворяне караулили у входов и, зная, что проскуринская партия будет класть кандидату направо, партия старого предводителя клала налево. И чуть было не пересолили: кандидат прошел только с пятью голосами большинства.

Уездные выборы прошли еще глаже. Наш старый сам отказался, мы из вежливости стали просить его, он опять отказался, тогда мы поблагодарили его, попросили принять от нас обед и выбрали Чеботаева почти единогласно. Прошел и Старков в своем уезде, в уезде же Николая Ивановича само собой все прошло так же гладко.

Даже в уезде Проскурина все сложилось почти так, как мы того желали.

Дело в том, что Проскурин, упавши духом, – как мы думали, – после выборов губернского, а также ввиду малочисленности мелкопоместных, заявил, что не желает больше служить.

Он и вся его партия как-то сразу бросили весь свой задорный тон, и Проскурин добродушным, усталым голосом говорил:

– Если что-нибудь мне интересно, то права: если я буду выбран и на это трехлетие, получу действительного статского. Но для этого надо только, чтобы выборы утвердили, а затем я в тот же день и в отставку подал бы.

Он обратился к своему противнику и сказал:

– Хотите, так поступим: выберите меня предводителем, вас кандидатом, через два дня меня утвердят, я подам в отставку, вы останетесь.

Предложение было принято, и Проскурин, чего еще никогда не бывало раньше, прошел на этот раз единогласно.

– А если он вас надует? – спросили одного молодого дипломата в камер-юнкерском мундире, противника Проскурина.

Дипломат развел руками и ответил:

– Тем хуже для него.

Так и вышло: Проскурин надул.

В последний день собрания кандидат его Корин, из бывших чиновников, мизерный и тщедушный физически, в сообществе нескольких «свидетелей» остановил Проскурина в коридоре и напомнил ему его обещание.

Проскурин, проходя, бросил ему пренебрежительно:

– Я передумал.

– На каком основании? – пискнул было ему вдогонку кандидат.

Проскурин остановился, смерил кандидата уничтожающим взглядом и отдельно сказал:

– Да хотя бы потому, что убедился, что вы не годитесь быть нашим предводителем.

Проскурин ушел, и его партия так хохотала в столовой, что дрожали стекла, а растерянный кандидат говорил своим друзьям:

– Я за то только благодарю бога, что он не наделил меня физической силой, иначе я не удержался бы и дал бы ему пощечину.

На закрытие собрания губернатор не приехал и даже не отдал визита губернскому предводителю, заявивши ему, что до удовлетворения он не может быть в дворянском доме.

– В таком случае и я, ваше превосходительство, лишаюсь чести бывать у вас, – ответил ему старик.

И опять Проскурин торжествовал. И про него говорили:

– Нахал, интриган, но талантлив!

### III

Сейчас же после выборов и обеда в честь старого предводителя дворянство разъехалось, и городская жизнь вошла в свою колею.

Это сразу почувствовалось на ближайшем же губернаторском журфиксе<sup>1</sup>.

В комнатах губернаторской квартиры царила обычная какая-то зловещая тишина. В полусвете абажуров гостиных, кабинета тонули мебель, ковры, картины. Проходили беззвучно все те же знакомые фигуры; торопливо, но бесшумно пронесли лакеи подносы с печеньями, чаем, фруктами; из игральной методично и сонно несло: «пики», «пас», «трефы», а в большой гостиной на первый взгляд казалось, что и хозяйка и все ее гости спали.

И если не заснули, то только потому, что появилась Дарья Ивановна Просова, жена одного видного деятеля.

Сам Просов пользовался большим уважением, и из-за него и супруге его прощали ее невоспитанность и эксцентричность.

Говорили:

– Человек таких способностей, такого образования, и вся карьера разбита этой ужасной женитьбой.

Все несчастье Дарьи Ивановны заключалось в том, что она хотела во что бы то ни стало казаться дамой большого света. Она не знала, например, французского языка, но постоянно вставляла в свою речь французские словечки, перевирая их смысл и произношение. Отсутствие манер, знание этикета она возмещала развязностью.

Дарья Ивановна вошла быстро, энергично и так твердо, что, несмотря на мягкие ковры, слышался топот ее шагов, а шелковая юбка ее так шуршала, как будто их было десять на ней. Она сразу огорошила:

– Какой фурор, – я, кажется, последняя приехала.

Она хотела сказать: *horreur*<sup>2</sup>.

Хозяйка мучительно вскинула куда-то к потолку глаза, все гости сделали такие движения, как будто каждый собрался лезть под тот стул, на котором сидел, а довольная собой Дарья Ивановна громко и звучно, заглядывая постоянно в стенное зеркало, затрещала о своей последней поездке с мужем.

Нервная и болезненная губернаторша, не выносившая никакого крика и шума, совсем съезжилась в своем кресле и, казалось, вот-вот отдаст богу душу.

Губернатор скучал за всех и только занимался тем, что каждого нового гостя спешил сплавить то в гостиную жены, то в игральную, то в маленькие гостиные, где в уголках группами приютились менее сановные и более молодые гости.

В кабинете губернатора остались трое: губернатор, Денисов, Сергей Павлович, и я.

Денисов, лет под тридцать, молодой человек с хорошим состоянием, жил вне всяких наших дворянских партий и слыл за оригинала и буку.

Его черные большие глаза смотрели всегда угрюмо, исподлобья; он занимался археологией и в каком-то отдаленном будущем мечтал о радикальном переустройстве жизни на почве равенства и братства.

Но к действительной жизни Денисов относился не ровно, то принимая ее, как она есть, обнаруживая терпимость, доходившую даже до попустительства, то становился вдруг требовательным и строгим.

---

<sup>1</sup> определенный день в неделю для приема гостей (от *франц.* jour fixe).

<sup>2</sup> ужас (*франц.*).

В общем очень добрый, очень порядочный, Денисов был неуравновешенный, неудовлетворенный собою человек. Он постоянно рылся в себе, сомневался, мучил себя, но как-то все это сводилось к мелочам.

Губернатор любил Денисова, называл его «человек будущего», «enfant terrible»<sup>3</sup> и позволял ему многое.

Сегодня Денисов был угрюмее обыкновенного, сидел и озабоченно грыз свою бородку, подстриженную à la Henri IV, а губернатор, полулежа на кресле, с закинутыми за голову руками, дразнил его:

– Ну-с, человек будущего, что же еще вас огорчает?

Денисов сдвинул брови.

– То, что я здесь сижу...

– Как вам нравится? – посмотрел на меня губернатор.

– ...и ничего не делаю, – кончил Денисов, не обращая внимания на вставку губернатора.

Донесся голос Дарьи Ивановны.

– Ах! – тоскливо вздохнул или зевнул губернатор, – что о ней вы скажете?

Денисов стал еще угрюмее и сказал:

– Дарья Ивановна очень добрый человек, это знают те бедные, которым она помогает, и те больные, за которыми она ходит.

– Я предпочитаю не пользоваться ее добротой и быть ни бедным, ни больным, – бросил губернатор.

Наступило молчание.

– Ну, а насчет выборов, – начал опять губернатор и, обращаясь ко мне, показывая лениво на Денисова, сказал: – Я хочу его непременно сегодня рассердить. Что вы скажете, например, о предводительстве Старкова?

– Ничего не скажу, – ответил Денисов. Губернатор пожал плечами и заговорил:

– Их три покойника: отец Старкова, брат его и брат его жены, – славились своей феноменальной глупостью... Уже там было вырождение и... жажда общественной деятельности. Таких тогда еще не выбирали в предводители, и они устроили бюро справок. Отец вот этого Проскурина, – десять таких, как теперешний, – зашел как-то к ним в бюро: все трое стояли за прилавком. «Сколько стоит справка?» – «Двадцать копеек». – «Вот вам двадцать копеек, и я навожу справку: кто из вас троих глупее?» Это, заметьте, был единственный двугривенный, который они заработали. Денисов мрачно сказал:

– Я не знал отца Старкова, но молодой Старков порядочный и не глупый человек.

– А я не знаю, – заметил губернатор, – молодого Старкова, не сомневаюсь, конечно, в его порядочности, но очень рад и за себя и за него, что он бросил мысль о газете.

– Почему за себя?

– Потому что избавлен от неприятности отказать ему в разрешении...

– Это почему? – совсем окрылся Денисов. – На том основании, что вы имеете право запретить? Небольшое основание...

– Вы вот в вашем там будущем и разрешайте.

Денисов раздраженно встал:

– Не сомневаюсь, что и в настоящем вы так же поступили бы, потому что считаю вас порядочным человеком...

– Как вам нравится? – обратился ко мне губернатор.

– ...а теперь прошу вашего позволения уйти к Марье Павловне.

Губернатор махнул рукой.

– Идите: вы несносны сегодня.

---

<sup>3</sup> сорванец (франц.).

Денисов ушел, а губернатор, проводя рукой по лицу, сказал мне:

– Как я завидую вам.

– В чем?

– Вы уедете отсюда.

И он протянул мне руку ладонью вверх. В это время вошел изящный гвардейский офицер, и губернатор, лениво поднявшись, сказал:

– Bonsoir<sup>4</sup>.

И, взяв под руку гостя, лениво прошел с ним до дверей гостиной:

– Marie! Prince Anatole<sup>5</sup>.

Гость прошел к хозяйке, а губернатор возвратился навстречу новому гостю – председателю суда – Владимиру Ивановичу Павлову.

Павлов был высокий, крепкий старик, с чертами лица, точно выбитыми из стали. Его большие красивые глаза смотрели в упор: серьезно и твердо. Павлов пользовался громадным уважением в обществе, и даже губернатор, любивший с кондачка относиться ко всем, Павлова уважал.

Этого нельзя было сплавить, и старики чинно уселись друг перед другом, а я ушел в другие комнаты.

В одной из маленьких гостиных сидела окруженная поклонниками Софья Николаевна Семенютина, хорошенькая вдова, очень интересовавшаяся выборами и все время выборов проводившая на хорах дворянского дома.

Увидев меня, она рассмеялась и сказала:

– Несчастный, он совсем спит.

Я протер глаза и сказал:

– Да.

– Садитесь лучше к нам, – будем скучать вместе.

Она показала на окружавших ее кавалеров и сказала:

– Мы бы, конечно, не скучали, если бы ну хоть по душе поговорили об Дарье Ивановне, – да вот... не позволяет...

Она показала глазами на Денисова. А Денисов сидел, опершись на колени, и, не поднимая головы, ответил:

– Я думаю, что если бы Дарья Ивановна вдруг исчезла, нам окончательно не о чем бы было говорить.

– О, да, да, – рассмеялась Софья Николаевна, подняв вверх свои красивые руки, – и не надо даже делать таких страшных предположений. Ну-с, на этот раз, так и быть, оставим Дарью Ивановну и поговорим о выборах. Нет, каков Проскурин?

– Талантливый человек, – ответил молодой, с глупой физиономией господин, одетый с иголочки.

Его фамилия была Алферов. Отец его, богатый помещик, незадолго до этого скоропостижно умер, и Алферов бросил военную службу, выйдя штык-юнкером в отставку. Он при жизни был в ссоре с отцом и нищенствовал в полку. Думали, что он начнет кутить. Но он оказался очень практичным и экономным. Говорили даже, что он занимается ростовщичеством. В купеческих кружках, несмотря на его молодость, относились к нему с большим уважением.

В ответ ему Софья Николаевна сказала:

– Стыдно, стыдно. После этого всякий нахал, всякий не стесняющийся своей непорядочности – талантлив.

Совершенно неожиданно Денисов поддержал Алферова и стал защищать Проскурина.

---

<sup>4</sup> Добрый вечер (*франц.*).

<sup>5</sup> Мари! Князь Анатолий (*франц.*).

– Вы, вы?! – накинулась на него Софья Николаевна.

– Да, я, – упрямо ответил Денисов. Поднялся горячий спор.

Вошла моя жена и шепнула мне:

– Не пора ли нам?

Софья Николаевна остановилась на полуслове и спросила:

– А разве уже можно? В таком случае и я...

– И я, и я... – подхватили несколько голосов.

– Господа, это выйдет демонстрация, – запротестовала Софья Николаевна, – я сказала первая и извольте соблюдать приличие. Что?

И она обвела всех своими немного близорукими смеющимися глазами и рассмеялась.

– О, боже мой, как все это глупо, приеду домой и сейчас же приму душевную ванну, – говорила она, прощаясь со всеми.

– Шекспира? – спросил я ее, зная ее любовь к Шекспиру.

– Его, – кивнула она, проходя в большую гостиную.

А я, стоя в дверях, наблюдал, как вдруг преобразилась вся она, серьезная не по летам; с достоинством и проникнутая в то же время как бы невольным уважением, она подошла к губернаторше и сделала ей непринужденный красивый, немного девичий реверанс.

Губернаторша облегченно спросила ее:

– Уже? – И, как бы боясь, что гостья передумает, дружески кивнула ей головой: – Не забывайте.

И потянулись дни за днями с журфиксами, визитами, собраниями и концертами, скучные и утомительные дни провинциального high life'a<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> высшего света (англ.).

## IV

Один фотограф, у которого я снимался, живой и интересный хохол, встретив как-то, спросил меня:

– Вы сегодня вечером что делаете?

– В театре.

– Не заедете ли после театра ко мне? Соберется кой-кто, петь будем, плясать, играть, будут и умники. В самом деле, что вам, приезжайте.

Мне, скучавшему, как только может человек скучать, улыбнулось это предложение, и я после театра поехал.

Я приехал в разгаре вечера.

В накуренном воздухе маленьких комнат, с дешевой мебелью и фотографиями по стенам, тускло горели лампы и стоял гул от оживленного говора.

Я остановился у дверей, и первое, что резко бросилось в глаза: простые будничные костюмы и оживленные, праздничные лица гостей. Говорили, громко смеялись. Я прислушивался к этому смеху с удовольствием, потому что давно уже не слышал такого веселого, беззаботного смеха.

Мое появление ничего не нарушило. Только какой-то седоватый веселый господин, собиравшийся что-то сказать, остановился на мгновение с поднятой рукой и с дружелюбным любопытством осмотрел меня, да хозяин крикнул, увидев:

– Ну, вот и отлично, как раз вовремя: сейчас пение начнется, а пока я вас успею еще познакомить.

И он повел меня по комнатам: Седоватый господин, немного сутуловатый, с добрыми женскими глазами, добродушно сказал мне:

– Я уже слышал о вас: очень рад познакомиться.

И мне вдруг показалось, что я давным-давно уже знаком с ним.

– Это кто? – спросил я, отойдя, у хозяина.

– Судебный следователь из евреев, Яков Львович Абрамсон, – шепнул мне хозяин, – мог бы давно быть и председателем, если бы выкрестился, но не хочет: очень хороший человек, его все очень любят.

По очереди, проходя через маленькую комнату, я пожал руку господину средних лет, с умным, спокойным и твердым взглядом, около которого сидело несколько молодых людей, и один из них, – с бледной, некрасивой и изможденной физиономией, но с прекрасными глазами, которые тем рельефнее выдвигались и красотой своей освещали все лицо, – что-то горячо говорил.

Молодой человек был одет более чем небрежно даже для этого общества: прорванный пиджак и ситцевая рубаха были далеко не первой свежести.

– Василий Иванович Некрасов, – шепнул мне хозяин, указывая на господина средних лет, – присяжный поверенный, умница, был несколько лет тому назад председателем земской управы, – слетел в двадцать четыре часа.

– За что?

– Да, собственно, повод – ерунда, там, в пиджаке приехал к губернатору, – отношения раньше были натянуты.

– А этот молодой человек в грязной рубахе, который напоминает мне время нигилистов?

– Это от бедности... Это самоучка из босяков, он пишет в газете: крошечные такие рассказы... Ему предсказывают большую будущность.

Проходя дальше, я увидел председателя суда, Владимира Ивановича Павлова, и удивился неожиданной встрече.

Большой, мрачный, он сидел такой же угрюмый, как и на губернаторских журфиксах, внимательно слушая какого-то средних лет господина, в синих очках, с светлой бородкой клином.

– Это кто с Павловым сидит?

– Редактор нашей газеты.

– Какое разнообразное, однако, у вас общество.

– Да, спасибо, не брезгают моей хатой, – сказал хозяин.

Началось пение.

Молодой офицер мягким приятным басом запел «Капрала».

Я стоял у дверей и слушал.

Офицер пел выразительно, красиво и с чувством.

И вся его фигура, статная, с открытым, доверчивым лицом, голубыми глазами, очень подходила к песне.

После офицера пела барышня, нарядная, изящная. Она училась в консерватории и приехала теперь домой.

У нее было колоратурное сопрано, и голосок ее звенел нежно. Когда она делала свои трели, казалось, комната наполнялась мягким звоном серебряных колокольчиков.

Ее заставили несколько раз спеть.

– Кто она? – спросил я подошедшего хозяина.

– Норова, дочь одного бедного еврея, лавочку имеет.

– У нее прекрасный голосок, – сказал я, – но вряд ли годится для большой сцены.

– На маленькой будет петь.

Еще одна барышня пела, и у этой был свежий, выразительный голос.

После пения играли на скрипке, – соло, дуэт с роялью, рояль соло.

И игра была прекрасная.

Я, житель юга, привык к музыке, пению и в своем обществе скучал за этим.

После музыки хозяин позвал закусить чем бог послал. Бог послал немного: две селедки, блюдо жареной говядины, грудку хлеба, две бутылки водки и батарею бутылок пива.

– А после ужина, когда прочистятся голоса, – говорил хозяин, – мы хором хватим.

После ужина хватили хором и пели долго и много.

Когда я проходил мимо группы молодых людей, сидевших за столиком и пивших пиво, меня окликнули по имени и отчеству.

– Не узнаете? – спросил окликнувший тихим сиплым голосом, ласково улыбаясь.

Я напряг свою память: где я видел эту застенчивую, сутуловатую фигурку, смотрел в эти черные глаза, слышал этот тихий сиплый голос?

– Вы статистик, Петр Николаевич? Извините, фамилию забыл.

– Антонов, он самый, присаживайтесь, позвольте познакомиться: сотрудники местной газеты.

Петр Николаевич года два назад по делам статистики заезжал ко мне в имение.

Принял я было его тогда очень плохо.

Он вошел прямо в кабинет, а я, думая, что это какой-нибудь писарь с окладными листами, сухо спросил его:

– Отчего вы в контору не прошли?

– Извините, – весело ответил Петр Николаевич и уже пошел, когда я догадался спросить его, кто он.

Петр Николаевич прожил у нас тогда несколько дней, и в конце концов мы расстались с ним в самых лучших отношениях.

Я очень обрадовался ему. Его товарищи скоро ушли, и я, так как деревня каким-то непреваренным колом постоянно торчала во мне, на вопрос, как идут мои дела в деревне, рассказал Антонову о всех своих злключениях.

Антонов, согнувшись, внимательно слушал меня и, когда я закончил, задумчиво сказал:

– Какой богатый материал... Если бы вы могли написать так, как рассказали... Отчего бы, в самом деле, вам все это не описать?

– Для чего?

– Напечатать.

– Собственно, кому это интересно?

– Интересна здесь деревня, ваши отношения... Насколько я понял, вы ведь вперед, так сказать, предугадали реформу и были... добровольным и первым земским начальником... Нет, безусловно интересно и своевременно...

– Если печатать, то где же?

– В «Русской мысли», в «Вестнике Европы».

– Шутка сказать!

– Вы напишите и дайте мне.

– А вы какое отношение имеете к этому?

– Я тоже пишу.

– Что?

– Очерки, рассказы.

– Вы где пишете?

– Прежде писал в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».

– Вы и тогда, когда у меня были, тоже писали?

– Да.

– Отчего же вы ничего не сказали тогда?

– Не пришлось как-то.

– Вы что написали?

– «Максим-самоучка», «Дневник учителя», несколько рассказов. – Он назвал свой псевдоним. – Читали?

– Нет, – отвечал я смущенно, – не успел... Непременно прочту...

Вечер подходил к концу. Где-то в крайней комнате все еще пели хором, но нежные мелодичные звуки как будто все ленивее пробивались сквозь накуренный полумрак комнат. Догорали свечи, и огонь их казался теперь красным. Уже потухло несколько ламп.

– Ну, что ж, пора и домой, – поднялся Антонов, – надо бы нам где-нибудь увидаться еще.

– Очень рад, – сказал я, – если позволите, я приеду к вам.

К нам подошел в это время Абрамсон и, добродушно смеясь, сказал мне:

– Собственно, и я очень рад бы был, если бы наше знакомство не ограничилось этим и вы посетили бы мой салон, весь город бывает.

Абрамсон засмеялся, а я записал и его адрес.

На другой день я был и у Антонова и у Абрамсона.

Антонова я дома не застал, а у Абрамсона очень долго звонил, пока дверь вдруг не открыл сам хозяин и весело закричал:

– А-а! Пожалуйста, пожалуйста, очень рад, колокольчик не звонит, да и дверь никогда у нас не затворяется.

Он ввел меня в свой маленький кабинет и показал рукой на белую, известкой выкрашенную стену, на которой на листе крупно было написано: «О старости и тому подобных неприятных вещах просят не говорить в этом доме».

Он дождался, пока я прочел, и весело расхохотался.

– Понимаете, необходимо это, – он показал на свою седину, – а то ведь есть такие нахалы, что, если не предупредить, как раз и ляпнут перед кем не надо.

Я вспомнил, что на вечере Яков Львович все время вертелся около дам.

– Вы женаты?

– Все никак не могу выбрать... Не хотите ли чаю, пойдем в столовую.

Столовая – маленькая комната, с крошечным столиком и другой надписью на стене. Крупно было написано: «конфеты, закуски, вина» и мелко «в магазине Иванова».

Когда мы перешли в третью и последнюю комнатку, – кушетка для сна стояла в кабинете, – Яков Львович сказал:

– Ну, что ж, хорош салон? И действительно, ведь весь город бывает, за исключением вашего кружка... Ах, потеха. В последний раз была у меня Марья Николаевна Петипа, – видели вы ее на сцене?

– Ну, конечно.

– Я ей: салон, салон, ну, она и вообразила себе в самом деле: приехала в бальном платье, в туфлях, декольте, накидка с лебяжьим пухом. Как раз приехала к закуске. Посадил ее вот на это кресло, спрашиваю: «Закусить не прикажете?» – «Что-нибудь, говорит, соленья». Бегу в столовую, только хвост от селедки и остался, – несу торжественно с такой физиономией, как будто омар или по крайней мере свежая икра.

Яков Львович рассмеялся и сказал:

– На полторы тысячи жалованья что больше можно сделать?

– Отчего вы не сделали присяжным поверенным?

Яков Львович махнул рукой:

– Мне и так хорошо: счастье не в деньгах, счастье в спокойной совести; есть деньги – помог, нет – совет хороший...

В это время наружная дверь отворилась, и из передней выглянул в кучерской поддевке крестьянин.

– А, заходи, – сказал Яков Львович. – Ну, что?

– Ходил.

– Ну?

– Поступил...

– Ну и отлично...

– Благодарим покорно, – сказал крестьянин и вышел.

– Вот удалось определить в кучера... у меня здесь настоящее справочное бюро: придет концерт давать – ко мне, в кучера – ко мне, умер – бедная семья евреев ко мне. У меня самого ничего нет: есть друзья.

В это время дверь отворилась, вошел новый посетитель.

– А-а, – крикнул хозяин, увидев гостя, – позвольте вас познакомить: учитель реального училища Павел Александрович Орхов, собственно инженер-технолог, но из любви к искусству.

– Да знакомы, знакомы уже: у фотографа же на вечере.

Это говорил маленький, живой, с большой кудлатой головой, похожий на головастика человек, постоянно обдергивавшийся.

– Да, да, знакомы, – сказал я, пожимая руку Павла Александровича.

– Зашел к вам, – сказал Павел Александрович, садясь, – вот по какому делу. Собираюсь я лекцию по геологии прочесть, да не знаю, как сделать у губернатора.

Абрамсон обратился ко мне и сказал:

– Как видите, это имеет самое прямое отношение к моей специальности судебного следователя.

– Вы ведь хороши с Ермолиным, – через него, говорят. Вот и дайте к нему записку, там, что ли, – сказал Орхов.

– Я сам к нему с вами поеду.

– Ну и отлично.

И, обратившись ко мне, Орхов спросил:

– Ну, как вам понравилось у фотографа?

– Очень понравилось, я и до сих пор не могу прийти в себя от удивления. Я, собственно, точно провалился вдруг в другой мир, о котором никакого представления не имел.

– Вот, вот, – замигал своими большими глазами Орхов и стал нервно ловить свои обстриженные усы, – именно провалился. В столице вы видели, конечно, этих других людей, но не предполагали, что они и здесь имеются уже. Конечно, в городе, где сорок – пятьдесят тысяч жителей, народа довольно, но вам как-то представляется весь этот народ не своего круга чем-то очень малозначающим и неинтересным: ну, какие-то там работники, из-за куска хлеба бьющиеся изо дня в день, все поглощенные серой, скучной прозой жизни и, конечно, без всяких горизонтов. А что и есть, то это заимствовано от вас же, людей вашего круга, как заимствуют они у вас и все остальное: моды, манеры, светский этикет. И как все подражательное – все это ниже оригинала. Для этого достаточно видеть их издали: на улице, в собраниях, в театре. Словом, была какая-то непродуманная, но твердая уверенность, что вы и ваш круг – начало и конец всему, источник жизни и единственный проводник культуры. И вдруг: провалился в преисподнюю... в другой мир. Вы когда кончили курс?

– Восемь лет назад.

– В один год со мной: почти напротив жили... Восемь лет всего, и уже не можете прийти в себя от удивления, что увидели всех нас. Хоть назад поступай... Все высшее образование, может быть, не задело даже за то, сидящее и в вас и в каждом, что вы увидели у фотографа. Как раз там, где не требуется никаких дипломов, родословных, набитых карманов. Там и Савелов, которого читает вся образованная Россия, и босяк, который, может быть, удивит всех своим талантом, и все эти неизвестные люди труда, совокупным трудом которых является номер, печатный лист газеты, журнала, – в них истины этики, политики, социальные и экономические истины, проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой... Провалился: корни не в почве, а в корке вдруг оказались... Оказалось вдруг, что наш громадный мир только болото на корочке, что есть другой мир, где и настоящая почва, где и жизнь, и знание, и искусство, где люди трудятся, мыслят, думают, осмысливают... Да, да... Новые люди из Зеландии приехали, при виде которых в себя прийти не могут. Так вот как. Ну, мне пора...

И Орхов вскочил, торопливо сунул мне и хозяину руку и ушел.

Яков Львович возвратился назад смущенный и, разводя руками, сказал:

– Вот еще чудак... Требуется от всех людей какого-то геройства, аскетизма... Точно жизнь вот так и идет по прописи...

Я сидел сконфуженный, смущенный.

– Нет, в самом деле, вам понравился вечер? – говорил тоже смущенный хозяин. – Надо будет и у меня как-нибудь собраться...

– Ну, и мне пора...

Я встал, откланялся и уехал беспокойный и огорченный.

## V

Каждый раз, как приезжал в город управляющий, я нетерпеливо спрашивал:

– Ну что? Как поджигатели? Выселяются?

– Да ничего... Пока и не думают они ни о чем, надеются, что до весны не хватит вас. Чичков говорит: «Где это видано, какой закон потерпит, чтобы без суда выселять нас? Не смеет!»

Управляющий махнул рукой.

– Да что говорить? Сплетнями занимаются. Прямо смеются... Еще, говорят, столько же денег привезет. Сам будет и прощения просить. Набаловались.

– За что же прощения просить?

– Дело подорвано... Нужна власть, авторитет!

– Но произвола я не хочу.

– Никакого произвола: именно все на основании закона. Срубил дерево – к мировому: десятерной штраф, а не можешь – в тюрьму... Ни одного слова ругательного... Исаев, голубчик, раз уже есть, Ганюшев – два...

– Попались?

– У меня попадутся!

– Вы все-таки будьте снисходительны...

– Да ведь уж... Я не желаю быть убитым... потому что, если теперь еще малейшую поблажку, то я назад уж не поеду. Три года вы дали мне сроку...

– Но всегда на законном основании?

– Закон мне не враг.

И Петр Иванович при этом смеялся так, что мне тошно было думать и о нем, и о деревне, и о судьбе брошенных мною князевцев.

Пришла весна.

Однажды утром меня разбудили:

– Князевские крестьяне приехали.

Я быстро оделся и вышел к ним.

Двое: Родивон Керов и Пиманов (один из прощенных участников) при моем появлении упали на колени и равнодушно крикнули:

– Не губи!

Я сухо остановил:

– Господа, вставайте – это не поможет...

Тогда они встали. Родивон, не спеша, полез в карман и подал мне сложенный лист бумаги.

Это была торжествующая, не совсем грамотная записка от управляющего.

Вот она:

«Вчера, 19-го апреля сего года, 15 бычьих наших плугов после молебствия с водосвятием приступили к пашне князевского выгона. Вся деревня собралась у моста, смотрела и не верила, когда плуг за плугом выезжал из усадьбы. Когда все плуги выстроились, выехал и я с батюшкой и с 15 верховыми, из которых четыре полесовщика были с ружьями, но никакого бунта не было. День был совершенно летний – от земли даже пар шел. Крестьяне всё стояли у моста, сперва в шапках, но затем, когда началось молебствие, сняли шапки и крестились. По окончании молебна, я, не обращая внимания на них, точно их здесь и не было, скомандовал: „С богом!“ И тогда плуги стали заходить и показалась черная земля. Ну вот, тогда не выдержали первые бабы и завыли. Некоторые из них упали на землю и действительно горько плакали. Я им сказал: „Вот до чего вы себя довели“. Только тогда мужики тоже не выдержали и подошли ко мне (без шапок). Подошли и говорят:

„Останови пашню: соглашаются приговоренные уехать“. Как я потом уже узнал, им прямо на сходе сказали: „Убьем вас этой же ночью, если не уедете!“ Так вдруг переменялось дело, но я и глазом не моргнул, что будто вот обрадовался. „Мне, говорю, все равно, что поп, что черт: вы, барин ваш – от кого жалованье получаю и приказание получаю... Не я, так другой... такой же, как и вы, подневольный. Поезжайте в город, привозите от барина записку, и кончу пахать“. Удостоверяю, что все пять семейств уже укладываются».

Так были изгнаны мною из Князевки пять зачинщиков из самых зажиточных дворов.

## VI

Между тем я получил место довольно далеко отсюда. Петр Иванович перед моим отъездом действительно звал меня в деревню. Он говорил:

– Теперь и безопасно...

– Я никогда и не боялся... – вставил я.

– И полезно для дела, и наконец... э... это будет доказательством того, что вы их простили... э... помирились с ними... все-таки... э... Дети ведь они, а вы... э... отец их... Наконец... э... Ну, вы увидите...

Петр Иванович снисходительно улыбнулся:

– Ну, как я... э... там справляюсь: может быть, недовольны останетесь мной... Нет, уж вы поезжайте: необходимо...

Я сдался и поехал.

Я приехал в деревню, когда весна была уже в полном разгаре.

Посевы взошли, и молодая их зелень беззаботно нежилась в привольном просторе яркого до боли весеннего деревенского дня. Тучки белые, нежные безмятежно плыли по голубому небу; молодой лес, точно узнав, ласкал меня приветливо своим нежным говором.

Я опять переживал неотразимую силу очарования этого праздника природы. Каждый уголок князевских земель, каждая межа и дорожка говорили, будили воспоминания, все словно шептало: «Забудем тяжелое прошлое, сольемся опять в одно для производительной работы».

Я слушал знакомый зов, волновался, может быть... но был далек теперь от изменчивой красавицы природы.

Петр Иванович усердствовал.

Над воротами была устроена арка, перевитая молодой зеленью берез, с надписью: «Добро пожаловать». Во дворе стояла толпа нарядных крестьян. Рядом с великолепным Петром Ивановичем на крыльце стоял новый, молодой, застенчивый священник.

Когда я подъехал, Петр Иванович напыщенно спустился с крыльца, пожал мою руку, затем величественным движением головы пригласил батюшку и, когда я поздоровался и с ним, громко и важно сказал:

– Э... а вот ваши «арендатели»... э... (он показал на крестьян) они просят вас... э... сделать им честь отслужить молебен у креста, их иждивением выстроенного...

Я стоял, смотрел кругом... как будто все то же, те же лица... они кланяются заискивающе, подобострастно, как-то смешно и, не довольствуясь еще, усердно кивают мне головами.

Опять заговорил Петр Иванович:

– Э... они желали бы поднести вам по случаю приезда хлеб-соль... Э... впрочем, лучше сперва отслужить молебен... Впрочем, как прикажете...

Дело в том, что двое уже шли ко мне: староста с бляхой и все тот же Родивон.

Хлеб на металлическом блюде. Традиционных кур, яиц, поросят не было и в помине.

Я вынул было деньги, чтобы, по обыкновению, поблагодарить крестьян, но Родивон строго и решительно отрезал:

– Не надо!

Староста за ним, прокашлявшись, с ноткой сожаления, тоже тихо повторил:

– Нет, уж не надо...

Петр Иванович важно, с соответственным жестом остановил меня:

– Э... это не за деньги, а от доброго чувства... Так, господа?..

– Так точно...

– Ну, что ж, ко кресту? – обратился я смущенно к Петру Ивановичу.

– Хоругви вперед! – скомандовал Петр Иванович так, словно он приказывал целой армии.

С хоругвями бодро зашагали, пошел батюшка с дьячком, затем я, поодаль от меня Петр Иванович, а еще подалее староста и толпа крестьян.

Попробовал было я поравняться с Петром Ивановичем – не удалось, с крестьянами и подавно сохранялась какая-то заколдованная дистанция.

Так дошли мы до креста на шишке. На кресте висела икона с изображением моего и жены моей патрона.

Ученики нашей школы и соседнего села вышли вперед и под руководством дьячка пели вместо певчих, и это было нововведением. Пели хорошо, и молодой батюшка скромно, а Петр Иванович торжественно все время косились на меня. И ученики каждый раз, пропев, смотрели на меня с каким-то особенным любопытством.

Пропели многолетие.

Торжествующий толстый Петр Иванович, протягивая мне руку, сказал:

– Позвольте поздравить вас с благополучным приездом.

Попробовал я после молебна заговорить с крестьянами:

– Ну, что ж, всходы хороши, кажется?

Прокашлялись, переступили с ноги на ногу, посмотрели на Петра Ивановича:

– Слава богу...

– Еще бы не хороши, – усмехнулся Петр Иванович, – на унавоженной... таких и не видали, чать...

– Дай бог здоровья и барину и Петру Ивановичу...

Петр Иванович встряхнулся...

– Я что? А вот за барина день и ночь надо молиться: ноги его мыть да воду эту пить...

– Арендой довольны?

– Довольны.

– Еще бы не довольны, – вставил опять Петр Иванович, – даром кому не надо...

– Может быть, кто-нибудь имеет попросить о чем-нибудь меня?

Мгновенное гробовое молчание. Петр Иванович и торжествует и строго, в упор смотрит на крестьян.

Преодолевая соблазн, кто-то за всех уныло отвечает:

– Что уж просить? Довольно просили...

Петр Иванович сияет:

– Что? Совесть проснулась. Нет... э... надо правду говорить: я теперь доволен.

Вдруг выходит Алена и валится мне в ноги.

– Встань, встань, – говорю я, торжествуя в душе. Зато Петр Иванович взволнован, огорчен и, не выдержав, говорит угрожающим голосом:

– Алена?! Помни!..

Алена отчаянно кричит ему:

– Да я не насчет чего там: земли, альбо денег... Муж меня донимает: защити, батюшка...

Это она говорит уже мне.

– Что же, – перебивает Петр Иванович, – ты думаешь барин – правительствующий синод, что станет разводить тебя с мужем?

Алена смущенно встает.

– Мне на что развод? Вид бы хоть... Ушла бы с детками в город от разорителя и полюбовницы его, чтобы сраму хоть не видеть...

Петр Иванович важно распускает свои толстые губы, собирает их колечком, пыжится и брызжет, как сифон с сельтерской.

– Э... я не одобряю, конечно, твоего мужа... э... но и жену, уходящую от мужа... э... по головке гладить нельзя...

Петр Иванович вдохновенно мотает головой. Я не выдерживаю:

– Андрей, – обращаюсь я к пьянице и развратнику Андрею, – опять ты за жену принялся: ведь такой же человек она, как и ты... Только потому, что можешь за горло схватить... Ну, ты ее можешь, а она тебя белым порошком угостит...<sup>7</sup>

Я обрываюсь, потому что сознаю всю бесполезность таких уговоров, и перехожу на практическую почву:

– Если ты дашь волю жене, я тебе лесу дам.

Андрей говорит, не поднимая глаз с земли:

– А пес с ней... дам паспорт.

– Ну, спасибо! Приходи ко мне сегодня в усадьбу за ярлыком.

Андрей равнодушно и тихо отвечает:

– Слушаю.

Петр Иванович снисходительно шепчет мне:

– Собственно против уговора... Своим решением вы ведь подрываете мой авторитет.

В ответ я обращаюсь к толпе:

– Еще кто-нибудь, может быть, имеет ко мне дело?

В толпе крестьян молчание, зато Петр Иванович говорит:

– Ну, э... я при владельце заявляю, что, если кто выйдет о чем просить, то я все равно не исполню... э... и тот мне враг.

Он обращается ко мне:

– Э... извините, пожалуйста, я предупреждал... э... что на три года... э...

Петр Иванович еще брызжет, но я, попросившись с батюшкой, иду уже назад в усадьбу.

Обед на террасе.

Перед нами весь в солнце сад с цветущими яблонями. Вершины душистых тополей ушли в лазурное небо, и вокруг них гул от пчел. Вот они золотыми нитями, то приближаясь, то удаляясь от деревьев, берут свою первую взятку. Седые ветлы над рекой, ленивые, громадные, едва шевелят, как опахалами, своими вершинами, и сквозит за ними другой берег реки с высокими, как горы из красной глины, холмами Князевки.

Какой-то праздник, нега, сон с этими неподвижными, застывшими навеки в голубой дали красными холмами.

Я ездил по имению, проверил кассу и отчетность. Во всем такой же порядок, как в этом саду. Деревня моя дает доход! Петр Иванович прекрасно устроился и с лесами; он поставляет дрова теперь в казну, он в дружбе с интендантом, называя его офицером.

Когда Петр Иванович бывает в городе, они вместе завтракают, слегка выпивают и говорят друг другу «ты».

– Так уж это у нас, у офицеров, заведено.

– Вы разве тоже офицер?

– Почти, – говорит уклончиво Петр Иванович.

Я воображаю себе этих двух «офицеров», а Петр Иванович важно и в то же время почтительно говорит:

– Э... он просит, чтоб вы замолвили за него словечко...

– Какое словечко я могу за него замолвить?

Петр Иванович еще важнее и снисходительнее играет своими толстыми короткими пальцами.

– Ну, положим... э... если такой дворянин, как вы... э... такой вельможа...

– Петр Иванович, побойтесь вы бога...

– Зачем же скромничать?

---

<sup>7</sup> Мышьак – обычный прием в деревне отделяться от постылых мужей и жен. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

И Петр Иванович покровительственно, любовно, как человек, сообщивший мне какое-то неожиданное громадное счастье, любитесь первым ошеломляющим действием этого известия.

Петр Иванович быстро встает и осведомляется:

– Э... собственно, дело к вечеру уже... насчет дальнейшего осмотра имения?

– Завтра...

– Слушаю-с... В таком случае я пойду в контору.

Вместо него появляется старый слуга его, Абрам. Абрам из николаевских солдат. Бритое, в седой щетине лицо, злые старые глаза, весь олицетворение неудовлетворенности. Он служит у Петра Ивановича «денщиком» за два рубля в месяц. Абрам укоризненно смотрит на меня и, качая головой, говорит наконец:

– Так вот как, сударь, пришлось нам скоро узнать друг дружку...

– В чем дело?

– В чем дело? – зло, не спеша переспрашивает меня Абрам, – а Петру Ивановичу кто на меня донес, что я водку из графина после завтрака выпил?... Хорошо, метку он, положим, сделал: нет водки, – верно... Хорошо! Так почему же непременно я?! Барин, говорит, сам тебя видел, когда вошел в столовую... Так неужели же барину доносами заниматься?!

Я защищаюсь всеми силами перед Абрамом во взведенной на меня Петром Ивановичем напраслине.

Абрам недоверчиво слушает и пренебрежительно отвечает:

– Теперь, конечно, что ж вам и отвечать... а Абрам виноватым остается.

– Ну, хорошо: вот придет Петр Иванович, и я это дело выведу на свежую воду...

Абрам опять долго укоризненно смотрит на меня.

– Выведете, а Абрама рассчитают...

Он неумолимо торжествующе впился в меня глазами.

– Что мне делать?..

– Ну так вот что: вот тебе деньги...

Абрам берет деньги и медленно уходит, а я по ступенькам спускаюсь в сад.

Нежный аромат цветущих яблонь. Где-то в саду звонко и отчетливо, подчеркивая безмятежный покой, насвистывает какая-то птичка. Тонет взгляд в лазури неба, и резче контраст этой молодой весны с старым, все тем же садовником Павлом. Он стоит в конце дорожки, и несколько ребятишек окружают его.

Так окружают молодые побеги, закрывая, старое, готовое уже к смерти дерево.

Все тот же Павел с проповедью о спасении души и притче о зазнавшемся богаче.

В этом смысле все такой же неутомимый и последовательный он, когда я подхожу к нему, отпускает мне несколько горьких фраз.

Все попытки с моей стороны к примирению отвергнуты величественно и стоически.

– Барин вы – барин и есть, – разводит он пренебрежительно руками.

Я прихожу к тому месту сада, где за оградой извивается дорога в Князевку, видна деревня, пруд ясный, зеркальный, отражающий покой безмятежного неба. Там на пруде утки и гуси и два диких лебедя, которые ежегодно весной на неделю, другую прилетают на этот пруд. Иногда они вытягивают длинные шеи и кричат своими гортанными звуками. Звуки несутся и медленно замирают в праздничной округе, и снова наступают минуты тишины, неги, безмятежного покоя. Ветер стих совсем, я стою под яблоней, в ее аромате, и вокруг меня падают розовато-белые лепестки ее цвета.

Я слышу голоса на дороге. Я узнаю их: это Матрена и Родивон. Ни я их, ни они меня не видят. Грубый, резкий голос Родивона:

– Ну да! Так и сказывали бы зимой: кто б тогда тебе давал муку?

Горький голос Матрены:

– Давал муку... Много дал... За полпуда три дня, не разгибаясь, жать...

Удаляющийся голос Родивона:

– Много – мало: не теперь толковать об этом.

И Родивон быстро проходит мимо меня.

Матрена ровняется с моей засадой, и я, подходя к ограде, говорю:

– Здравствуй, Матрена!

Маленькая, оливковая Матрена, с черными, как у турчанки, глазами, изможденная и сухая, вздрагивает и говорит:

– О, господи, как я испугалась... – Она поправляется быстро: – От радости испугалась...

Мы оба улыбаемся, и я спрашиваю ее:

– О чем это ты с Родивоном?

– Да-а! – Матрена машет рукой: – И слушать вам не стоит про наши глупые дела...

Остался теперь побогаче других на деревне и командует, как знает.

– Один остался.

Матрена вздыхает:

– Потянулись за ним и другие: Сурков, Тычкин, Пиманов... ну, те уж и вовсе на красненькую гоношат обернуть всю деревню...

– Лучше, значит, не сделал я, что кулаков удалил: новые растут?

Не замечая горечи для меня ее ответа, Матрена вскользь бросает:

– Растут как грибы на навозе... не у чего жить в деревне... так вроде того, что у пустого стойла мордой лошадь тычется: нет, нет и ткнет опять, – не набежало ли? неоткуда... Посев в наемку: сама нанимала и сама же нанимаюсь... и работать не на кого... Бедноты много уходит из деревни...

Матрена задумывается и уже повеселевшим голосом кончает:

– Так мы глупые: уравнивать всех нас хотели вы, – богатых выгнали, а мы, беднота, опять за ними тянемся...

Замолчала Матрена, молчу и я...

Тихо кругом. Словно под наш говор задумалось все или заснуло и спит в молодой весне крепким, глубоким сном, как те холмы с красными иероглифами, свидетели промчавшихся веков.

Стоим и мы с Матреной, пигмеи своего, мгновения, напряженно думая каждый свое.

– Ну, простите Христа ради... хоть из-за решетки нынче довелось поглядеть на вас...

Важные вы стали...

– Почему важный?

– Царь, бают, призывал вас, убытки вернул, пенсию назначил...

– Это неправда. Кто это рассказывал?

– Упомнишь разве, – говорит уклончиво Матрена, кланяется и уходит.

Я слежу за ней; она идет погруженная в свои думы, и ее маленькая фигура точно больше становится и рельефнее вырисовывается на пустой дороге.

Опять я один в саду.

Старая Анна, вдова Лифана Ивановича, с внучкой и другой маленькой девочкой.

Спрашивает меня робко:

– Ничего, сударь, что я осмелилась в садик зайти? Сиротка вот, Настя, уж больно любит глядеть, как цветочки здесь цветут... Говорит мне: «Я, бабушка, гляжу, и все мне кажется, что тут и тятка с мамкой из земли выйдут...»

Анна гладит хорошенькую пятилетнюю Настю и вздыхает:

– Не выйдут, не выйдут, дитятко...

Она обращается ко мне:

– Маленькая, а как убивается... Забыть никак не может... Одна осталась – взяла...

Легкий весенний день безмятежно догорает. Последними яркими штрихами разрисовывает заходящее солнце небесные поля. Розовой, прозрачной дымкой подернулся пруд, и нежнее в последних лучах светится зелень. Чувствуется прекрасное, мощное, и сильнее аромат цветущих яблонь. В какую-то волшебную даль уходит округа, и слышатся уже первые робкие посвисты соловья.

Вечером на сон грядущий Петр Иванович сам запирает окна в моей спальне и с плутовской улыбкой показывает мне еще одно нововведение – две скобы у дверей и надежный засов, говоря:

– Э... спите и ничего не бойтесь... теперь полная перемена: шелковые теперь стали.

Петр Иванович удовлетворен, доволен, но через мгновение это уже лучший из Фарлафов, прыгая, тычет пальцем в темную гостиную, где в неясных переливах луны движется какая-то фигура, и растерянно кричит:

– Э... кто там?! Кто там?!!

Это крадется все та же старая благообразная Анна и, почтительно кланяясь, шепчет:

– Успокойтесь, сударь, успокойтесь: господь милостив, все благополучно, – я воду барину на ночь несу.

– А бог с тобой, – говорит Петр Иванович, – с твоей водой... и все оттого, что шляешься без толку по свету, вместо того, чтобы давно лежать себе там рядом с Лифаном твоим Ивановичем.

Анна смиренно кланяется и говорит спокойно:

– Денно и ночью молю о том господа бога моего...

Петр Иванович уже добродушно бросает ей: – Плохо молишься, плохо молишься...

Петр Иванович прощается и уходит.

– Анна, хорошо умер Лифан Иванович?

– Хорошо, сударь... Причастился, пособоровался, приказал мне детей блюсти... Сударыня здоровы?

– Спасибо, здорова.

– И деточки?

– И дети.

– Слава богу. Спите с богом... Господь над вами.

Анна тихо, сгорбившись, беззвучно движется и исчезает в обманчивом сумраке волшебной ароматной ночи. Какая ночь: живая, вся из молодых жизней весны. Эти жизни трепещут, волнуются, живут... Какие-то уже чужие мне жизни... Я стою у окна: даль загадочная передо мною. В эту даль уйду я, как ушел Лифан Иванович, уходит Анна, как ушло все пережитое, что такой безнадежной щемящей болью сжимает сердце. И что уйдет со мной вместе в эту даль? Так хотело сердце правды, так рвалось к ней... Как неотразимо прекрасна природа. Неподвижно и тихо, и красавица ночи береза в своей молодой зелени, как ажурная, поникла и светится в лучах месяца. Так ясно видно все вокруг нее, и словно ближе месяц к ней, и шепчет ей какие-то сказки, и чутко слушает их округа: бледное нежное небо, даль, в дворцах из молодого тумана, падающий в какую-то бездну пруд и растрепанная нахохлившаяся Князевка с черной лентой убежавшей в поля дороги.

И вот и все небогатые впечатления тогдашней моей поездки в деревню, и я уже еду назад, решив завернуть по дороге к Чеботаеву, и мысленно подбиваю итоги своей поездки.

Когда я действовал прежде в деревне, я имел определенную программу.

Программа заключалась в том, чтобы, не щадя усилий и жертв, повернуть реку жизни в старое русло, где река текла много лет тому назад, восстановление общины, уничтожение кулаков. Я так и действовал ровно до тех пор, пока вдруг какая-то сила не отшвырнула меня и не разломала всю мою усердную работу в мгновение ока.

Конечно, когда таким дорогим путем появляется самосознание, то охота повторять дальнейшие в таком роде опыты пропадает, и главным образом потому, что для таких опытов не хватит никаких средств.

Но сознание ошибки не дает еще ответа на вопрос: как быть?

Я, конечно, желал как лучше... Я желал, он желал, мы желали, но где же истина, где то неотразимое, которое все наши желанья приводит в соответствие с жизнью, где то неумолимое, ясное, что заставит непоборимо признать себя?

Увы! все эти вопросы оставались без ответа.

У Чеботаевых все то же: тот же массивный дом, та же неподвижность комнат, обстановки, хозяев, – словно вчера еще только уехал от них в последний раз с ощущением полной сытости от долгого гощения.

Но и чувствуется здесь черноземная, здоровая, честная сила.

И весь кружок Чеботаева, съехавшийся как раз в мой приезд, такой же: может быть, и простые и прозаичные люди, без горизонтов, с изъянами по части образования, но безусловно порядочные. И, конечно, эта партия выше интригано-шалопайной проскуринской партии.

Все это так, и тем не менее я подавлен и сильнее, чем раньше, я чувствую отсутствие связующих меня с деревней элементов.

За обедом Чеботаев, провозглашая и за меня тост, назвал меня по поводу моих железнодорожных дел даже Скобелевым.

– Вам, батюшка, и книги там в руки, – говорил он, – дай вам бог всяких там успехов и только, ради бога, вы не принимайтесь опять за хозяйство...

И, когда приятельский хохот всех покрыл его слова, он сам хохотал и, поворачиваясь ко всем, твердил весело:

– А? Что? Ради бога, не принимайтесь вы только за наше дело... Будьте министром, первым человеком, но ради бога... Объять необъятное – невозможно, коемуждо свое... Деревня, батюшка, наше дело, простое, дело веков, сиди и прислушивайся, как трава растет... А что? Ей-богу...

И дружеские голоса кричали мне:

– Прав, тысячу раз прав он, – уезжайте!

С этим и выпроводили меня от Чеботаева.

## VII

Пять лет я отсутствовал и возвратился в свою губернию в начале зимы голодного 1891 года.

Рано покинули перелетные птицы мертвые поля в тот год, и с каким-то зловещим напряженным молчанием стояли они, пока не покрылись белыми, как саван, сугробами снега. За этими сугробами уже притаился голодный тиф и страшными глазами высматривал свои жертвы.

Пустотой веяло от губернского города.

Не было прежнего оживления, и в перспективах улиц уныло рисовались только редкие извозчики в напрасном ожидании куда-то вдруг исчезнувших седоков, да проходили по панелям, группами и в одиночку, с женами и детьми, деревенские обитатели, растерянные, с вытянутыми лицами, блуждающими ищущими взглядами и в то же время с удовлетворением, говорящим о том, что вот они все-таки вырвались каким-то чудом из тех сугробов и теперь здесь среди богатого города, среди живых людей, которые не дадут им умереть голодной смертью.

Они и раньше знали этот город, когда в хорошие годы возили, бывало, сюда свой хлеб на продажу. Две-три тысячи подвод тогда изо дня в день выезжали на хлебную площадь, и с утра до вечера у конторок хлебных торговцев стояла толпа, ожидая очереди расчета, или, вернее, обсчета, потому что у редкого все сходило благополучно: того в весе обманут, того в качестве.

Воротить обманом отнятое – одного бы этого хватило на теперешний голодный год.

Где уж там воротить! Хотя бы Христа ради подали теперь все эти грабившие их.

Но пусто на хлебной площади, только стаи голубей тревожно расхаживают по ней, то и дело нервно роясь в снегу; заперты и конторки, где толпился когда-то народ, и нет, пропали куда-то вместе с перелетными птицами и хозяева этих конторок; прилетят снова к хорошему году, чтобы снова тех, кто жив останется, обвешивать, учитывать и фальшиво на глаз определять качество хлеба.

И опять отдадут свой хлеб крестьяне, не везти же его назад.

И кричать нельзя: «Караул, грабят».

С горя можно только пьяным напиться, растеряв и последнее по кабакам да притонам постоянных дворов, где все соблазны, где зорко стерегут свои жертвы стаи живущих за их счет тунеядцев. И с отчаянием познавшие городскую науку и людей города говорят люди деревни:

– Хуже всякой нечисти едят они нашего брата.

Говорят, и сами же теперь с отчаянием и смертью в душе идут в этот город.

Но если пуста хлебная площадь, заперты конторки, не пускают на постоянные дворы и бегут теперь прочь от голодных деревни тунеядцы, то широко отворяются двери каких-то других, до сих пор не известных деревне квартир и домов.

Ласковые слова, ласковое внимание, участие, помощь посильная, и оголодавший люд с похолоделыми сердцами быстро отходит, горячее молится и уж так благодарит, что у самого черствого просыпается аппетит к помощи, к деятельности не для себя только.

Общество, с которым я впервые встретился у фотографа, усиленно работало: собирали подписку, писали в столичные газеты, – так как провинциальные еще молчали, – устраивали приходивших из деревень, организовали отряды в деревни.

Явились бараки, столовые, чайные, и губернатор, поставленный в безвыходное положение, говорил этим частным лицам по поводу их благотворительной деятельности:

– Я ничего не вижу, ничего не знаю, но, если я увижу, мне, вы понимаете, ничего больше не останется, как прекратить все это.

Так стояло дело до того момента, когда последовало высочайшее повеление, признавшее факт недорода.

Тогда картина сразу изменилась. Сейчас же по телеграфу было испрошено разрешение на экстренное дворянское и земское собрания.

Дворяне и земцы наводнили город, и все опять ожило и волновалось. Прежде всего пошли пререкания о том, кто виноват, что голод так долго не был обнаружен.

В настоящее время, когда прошло уже почти десять лет, все это уже достояние истории, но тогда переживалось острое и жгучее мгновение.

У самого равнодушного не могло не быть сознания безвыходности положения всех тех голодных, которые теперь там в своих деревнях сидели с пустыми амбарами, с ужасным сознанием, что они забыты и брошены на произвол судьбы. И все знали, что эти люди ели то, чего и скот не хотел есть, что среди этих людей уже свирепствовал голодный тиф. Совесть мучила, и тем злее, тем раздраженнее искали виноватых.

Как бы то ни было, но несомненный факт тот, что благодаря поздним мерам продовольственное дело осложнилось, и вследствие этого хотя и пришлось прибегнуть к запрещению вывоза нашего хлеба за границу, – благодаря чему мы навсегда потеряли многие заграничные рынки, – но это не спасло крестьянское население от неисчислимых бедствий и второго голода в 1892 году, происшедшего исключительно вследствие несвоевременной доставки семян.

На этой почве пререканий отношения земства и администрации так обострились, что было командировано даже специальное лицо для улажения недоразумений. Лицо это присутствовало и на земском собрании, на котором определялись размеры и форма ссуды.

Характеристикой настроения земского собрания может служить пустой, собственно, случай.

Командированное лицо, находя ссуду преувеличенной, сказало, что у правительства, может, и не имеется столько свободных денег.

Всегда изящный Николай Иванович, теперь взволнованный, голосом, обжегшим, как огонь, сказал:

– Собрание не сомневается, что это только частное мнение представителя. Правительство, которое находит средства для войн, найдет, конечно, средства и для того, чтобы войны эти не умирали с голоду.

Все смолкло, а представитель обратился к Чеботаеву: – Как фамилия говорившего?

Бледный Чеботаев, не предвидя ничего доброго, мрачно ответил:

– Я не знаю.

Встал и ответил на этот вопрос председатель земства старый Лавинов:

– Ваше превосходительство, возразивший вам наш товарищ... он только предвосхитил мысль каждого из нас, и нам остается лишь завидовать ему.

И с глубоким поклоном среди замершего в напряженном вызывающем молчании собрания – земцев и громадной публики на хорах, с которой теперь установился непрерывный, как биение пульса, ток, – Лавинов, полный достоинства опустил в свое кресло.

Среди мертвой тишины, когда уже ждали какого-то взрыва, слова представителя раздались в зале, как пар, выпускаемый в предохранительный клапан:

– Я лично буду отстаивать земством требуемые суммы.

Уже бладушнее собрание перешло к обсуждению форм ссуды. Было предложено ссуду выдавать обществам зерном за круговой порукой и тем только обществам, которые согласятся ввести у себя общественную запашку.

Кто-то коснулся того, что мера эта, как принудительная, требовала бы законодательной санкции, но ему ответили в том смысле, что и времени нет для этой санкции и что и принудительности здесь, собственно, никакой нет: кто хочет – берет, кто не хочет – не берет, – какая же тут принудительность?

Против предложенной меры возражал из немногочисленной группы гласных-крестьян высокий, елейный, с черной бородой крестьянин. Прокашлявшись, он сказал тоненьким теноровым голосом:

– Трудно будет крестьянам.

Кто-то бросил ему в ответ:

– Бог труды любит.

А один из земцев встал и сказал, обращаясь к гласному из крестьян:

– Вы слышали и видели, как земство отстаивало ваши интересы. Плохо и нам, крупным землевладельцам, но для себя мы ничего не просили, – только для вас. Но крупные владельцы не могут и платить за вас, как пришлось им платить за восьмидесятый, тоже голодный год, когда правительство взыскало выданную им ссуду со всех.

– Всего-то двести тысяч, – ответил, привстав, обиженно крестьянин, – остальное крестьяне сами уплатили.

– Всего! – иронически обиженно подчеркнул кто-то, и все улыбнулись, а Нашокин, подмигнув, севшему опять крестьянину, добродушно пробасил:

– Придется, видно, помириться?

Гласный-крестьянин и кивнул, и улыбнулся, и развел руками. Дескать: и польщены, что не брезгуете, и говорить-то мне среди вас, господ, трудно, – слава богу, что и так все сошло, и, конечно, помириться придется.

За земским собранием открылось дворянское. Собственно и в земском и в дворянском собраниях, за исключением земских начальников, которые тогда не принимали еще участия в земских собраниях, большинство было все то же. Неслужилое дворянство почти отсутствовало, да теперь его, с проведением реформы земских начальников, и не было почти. И даже не хватало для института земских начальников местного дворянства: кадр их пополнялся из дворян других губерний, по преимуществу из отставных военных.

На дворянском собрании дворяне думали, конечно, только о себе. Проектов помощи было подано много. Самый яркий – был князя Семенова. Смысл его заключался в том, что дворянство принесло на алтарь отечества ничем неизмеримую жертву, отпустив своих крепостных на волю. Все теперешние долги дворянства в сравнении с денежной стоимостью отпущенных крепостных – только проценты на потерянный дворянством навсегда капитал. Ввиду столь тяжких жертв дворянство, переживающее теперь небывалый кризис, ходатайствует, – если только оно нужно правительству, – сложить с него все его долги по Дворянскому банку.

Против этого проекта энергично восстали Николай Иванович и Чеботаев со своими партиями.

В конце концов удалось им провести более умеренное ходатайство, заключавшееся в следующем:

- 1) о понижении процентов;
- 2) о беспроцентной отсрочке на 48 лет взносов этого года;
- 3) о возобновлении дворянством хлебных поставок в интендантство;
- 4) о регулировке отношения с рабочими;
- 5) о всех тех мерах облегчения, которые правительство признает для себя возможным.

В заключение дворянство обращало внимание как на то обстоятельство, что страдает оно от недорода в гораздо большей степени, чем крестьянство, так как последним уже решено оказать помощь, так и на то, что главный заработок крестьян не от их посевов, а от работ на дворянских землях, и, следовательно, раз дворяне вследствие отсутствия оборотного капитала сократят свой посев, это тем тягостнее отразится на крестьянах.

Довольные дворяне собрались уже подписывать протоколы заседаний, когда вдруг разнеслась по городу весть, что старый предводитель скончался от разрыва сердца.

Так как все давно ждали этого, то смерть старика не произвела особенного впечатления. И уже раз быть тому, то хорошо, что случилось это как раз в период собрания, когда Проскурину невозможно и крайне бестактно было бы воспользоваться своими правами заместителя до новых выборов. Тотчас же по телеграфу было испрошено разрешение, и собрание занялось выборами. Но так как все партии одинаково не были к ним подготовлены и так как до настоящих выборов оставался только год, то и помирились все партии на том, чтобы выбрать безобидного, и остановились на одном старом, никому не нужном дворянине Павле Ивановиче Апраксине. Павел Иванович, ничего не делающий человек, был известен тем, что, являясь каждый раз на выборы, кричал: «Господа дворяне, только не меня!»

И господа дворяне каждый раз шутки ради всегда подходили к Павлу Ивановичу и, смеясь, просили его быть их губернским предводителем. А Павел Иванович падал на диван и, подняв руки вверх, весело кричал: «Нет, нет, только не меня!»

Но, когда Павла Ивановича действительно выбрали, многие смутились:

– А что же теперь мы с этим шутком делать будем? И как раз в момент новой реформы.

На это оптимисты отвечали:

– Поверьте, это еще лучше.

– Чем же лучше? Все дело попадет в руки губернатора.

– Теперь все равно попадет, а ссор меньше будет, да и не время для них.

Новый предводитель совершенно разделял мнение, что ссор не надо.

– Я вообще враг всяких ссор, – говорил он, разъезжая с визитами, – и меня одно мучит: близорук я! Ну, прежде там не узнаешь на улице, – простят, а теперь я ведь предводитель дворянства.

– А, черт, – с сочной интонацией, вздрагивая своими могучими плечами, говорит черный Нащокин, – и близорук вдобавок!.. – И, подумав, трясая головой, еще убедительнее прибавлял: – Убили бобра!

## VIII

Сейчас же после выборов, установив сношения с организовавшимися кружками помощи крестьянам, я выехал в Князевку. Я ехал и думал об этом помогавшем крестьянам обществе, которое теперь, когда нашлась и для него точка приложения, так сильно вдруг обнаружило готовый запас общественных сил, до времени тлевший под пеплом и теперь вспыхнувший ярким пламенем любви к ближним, жаждой деятельности.

И сколько жизни, возбуждения, энергии, сколько теплоты! Все выходило так просто, как будто и действительно не требовалось никакого напряжения, между тем люди жертвовали и деньгами, и временем, и здоровьем, и жизнью.

Такие люди оказались и там, где я служил, оказались и везде в 91-м году, когда впервые выступили они на арену общественной деятельности.

Узнав этих людей, я все эти пять лет стремился к ним всеми силами своей души.

Было, конечно, тяжело сознать, что я, дипломный человек, перед этими людьми истинного знания – только невежда, только профан, которого давно и сознают и понимают, и только он сам все еще находится в блаженном неведении относительно того, кто он и что он в жизни.

Но уж слишком выстрадал я свое дипломное невежество, связанное к тому же с натурой, неудержимо стремящейся хотя и к чисто практической деятельности, но всегда с добрыми намерениями на общую пользу. Понять эту пользу, понять себя, найти свою точку приложения, – понять, осмыслить, обосновать всем тем знанием, которое имеется уже в копилке человечества, – вот задача, перед которой отступили на задний план все вопросы ложного самолюбия. И эти пять лет были моим вторым университетом, в котором я действительно работал так, как не умеют или не могут работать, преследуя дипломные только знания.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.